

ЮЛИЯ
ДОБРОВОЛЬСКАЯ

ЖИЗНЬ СПУСТЯ



Людмила Испанкина



Юлия Абрамовна Добровольская

Жизнь спустя

Серия «Русское зарубежье.

Коллекция поэзии и прозы»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24603655

Жизнь спустя: Алетейя; Санкт-Петербург; 2016

ISBN 978-5-89329-904-5

Аннотация

Юлия Добровольская родилась в Нижнем Новгороде в 1917 году. Переводчик итальянской художественной литературы, преподаватель итальянского языка в Московском институте иностранных языков (1946–1950) и в Московском государственном институте международных отношений (1956–1965). Автор учебников, словарей. В Италии, где она живет с 1982 года, Юлия Добровольская преподавала русский язык, а также теорию и практику перевода в Университетах Милана, Венеции, Триеста. Дважды (1976, 1987) награждена престижной премией по культуре президиума Совета министров Италии. В настоящее время живет в Милане. Эти записки напоминают застольные беседы в кругу друзей где-нибудь на московской кухне 60–70 годов, так неподдельна и сугубо доверительна их интонация. Они написаны «постскрипtum», то есть после сотен

страниц переводов, учебных пособий, словарей. «Я пишу только то, что врезалось в память и к чему лежит душа, – говорит Юлия Абрамовна, – а душа больше всего лежит к моим друзьям, тем, что разбросаны по свету и кого уже нет». Стало быть, «Постскриптум» заведомо задуман и написан «вместо мемуаров», как рассказы о друзьях. «Разлука с друзьями – это та дорогая цена, которую приходится платить за эмиграцию», – не раз повторяет автор.

Содержание

От улицы Горького, 8 – до Corso di Porta Romana, 51	7
Кустарь-одиночка	19
1. Начну, как полагается, с самого начала	22
2. Могучая кучка	32
3. Второй диссонанс	40
4. В учении у В. Я. Проппа	44
5. Германист и германистка, романист и китаистка: четверо неразлучных	52
6. Испания	61
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Юлия Добровольская

Жизнь спустя

© М. О. Чудакова, 2006

© Ю. А. Добровольская, 2016

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2016

* * *



Самолет
и самолет
красивый
из самолета
носа

В. Ш. [Signature]

От улицы Горького, 8 – до Corso di Porta Romana, 51

1

«Судьба покорного ведет, а непокорного влачит».

Перипетий судьбы автора и героини этого повествования с лихвой хватило бы на несколько жизней. Они могли бы составить фабулу многотомного детектива – его читали бы не отрываясь. Но и изложенная в мемуарной форме эта история *одной* жизни захватит любого, я уверена, кто откроет книжку.

Когда-то, в 1922 году (автору будущих мемуаров тогда исполнилось пять лет), Осип Манделъштам, увидев последствия Мировой и Гражданской войн, пришел к радикальным выводам относительно судьбы романа в новейшее время, прямо связав ее с возможностью или невозможностью для личности строить свою биографию: «...Композиционная мера романа – человеческая биография. Простая совокупность всего, что считается человеком, еще не есть биография и не дает позвоночника роману... Ныне европейцы выброшены из своих биографий, как шары из бильярдных луз...».

Любой может для проверки мобилизовать свой читательский опыт и вспомнить, например, как в образцах жанра – романах Бальзака – личность сама строит свою биографию: Растиньяк едет в Париж, чтоб его завоевать, и – завоевывает. Революция и последующие годы уничтожили возможность такого целенаправленного, да еще и эффективного действия: «Самое понятие действия для личности подменяется другим, более содержательным социально понятием приспособления».

Щепка *приспосабливается* к движению потока – несется вместе с ним. Новые, существенно отличные от классических образцов романы XX века («Белая гвардия», «Тихий Дон», «Доктор Живаго») показывают, как личность уже не может распорядиться своей судьбой, строить свою жизнь по собственному замыслу. Но она оказывается, и многократно, в ситуации *выбора*. И всякий раз делает *свой* выбор. И трагедия российского XX века в том, что вслед за тем поток ее все-таки сносит. Биография рушится, личность остается.

Люди России XX века, выброшенные из своих биографий, нередко и заброшенные в разные точки «необъятной родины своей», сохраняли главный выбор: остаться личностью или перестать ею быть.

Этот выбор часто не рефлексировался заранее: человека просто ставила перед ним советская жизнь, и порою – внезапно. Тогда тот, кто обладал личностью, как бы невольно обнаруживал, что просто не может (в отличие от многих) по-

ступить иначе. И в результате оставался самым собой – совсем не малое приобретение.

Юлия Добровольская, преподаватель итальянского языка в МГИМО (уже отсидевшая в лагере), однажды утратила «политическую бдительность» и дала студентам для перевода с итальянского интервью с Анной Ахматовой, напечатанное в коммунистической газете «Унита» после того, как Ахматова получила в 1965 году в Италии (впервые «выпущенная» за границу в советское время) премию Этна Таормина. На специально назначенном общем собрании преподавателей заведующий кафедрой Г., очертив прискорбную ситуацию, «выразил надежду, что товарищ Добровольская признает свою ошибку и честным трудом ее искупит».

Товарищ Добровольская взвилась:

«Вот что вам скажу: мы должны в ноги поклониться Анне Андреевне Ахматовой. Дальше – про «гордость нашей страны», но главное: *«Уверена, что вы все так думаете, но сказать боитесь. Я вас за это презираю. А с провокатором Г. не желаю иметь дела!»*

И ушла, хлопнув дверью.

«На этом моя педагогическая деятельность закончилась».

А ведь она была ей очень важна – для этой деятельности в самую первую очередь Юля и была, видимо, задумана. Уходить-то из нее она не собиралась! Но наступил момент – и не оставил выбора.

«Так я стала лицом свободной профессии, если допу-

стить, что эпитет “свободный” имел право гражданства в нашей стране, “где так вольно дышал человек”».

2

Но раньше, в юности – бездумное и жуткое время, осень 1937 года. Бездумное потому, что мы, «ровесники Октября», «комсомольцы тридцатых годов», горели пламенем революционной веры (ибо все брали на веру), были чисты помыслами, прямодушны, восторженны, словом, как были задуманы гомункулами, такими и выросли... Мы верили прекрасным словам и не видели черных дел. Будем откровенны: боялись видеть, не хотели видеть. До поры. И общей для поколения стала «вовлеченность всем сердцем в испанские события: ведь столкнулись добро со злом, фашизм и антифашизм». В Испании оказывается и она – в двадцать лет, с университетской скамьи, после сорока дней «испанизации» (испанский тогда в университете не изучали). Яркие подробности увиденного, удержанные по случайной во многом выборке совсем юной памятью (ясно и так, сколь многое в этой грандиозной аванюре советской власти, влезшей в чужую страну со своим уже имевшимся кровавым опытом Большого Террора, и в судьбах отдельных ее участников нам остается неизвестным и еще долго будет неизвестным), – и уже гораздо более позднее удивление: как это «такому тонкому человеку, как обожаемому нами Хемингуэю оказалось

не под силу распознать механизм террора и лжи». Тут важно именно слово *механизм* – сами мерзости-то он увидел, недаром перевод его романа «По ком звонит колокол» (который не давала печатать пламенная Долорес Ибаррури) на папиросной бумаге мы, потрясенные, передавали в 60-е годы из рук в руки. Механизм, само устройство тоталитарного (и именно советского) режима сумел увидеть человек почти того же поколения – Оруэлл, приехавший в Каталонию сражаться с фашистами: «он застал обыски, аресты, расстрелы без суда и следствия по обвинению в троцкизме... Он не столько испугался, сколько ужаснулся», результатом чего и стали его знаменитые книги.

Про ее «испанские» годы лучше Мераба Мамардашвили, чьи слова взяла она эпиграфом к главе, все равно не скажешь: «В Испании ты сражалась за правое дело, которое, к счастью, было проиграно».

Одна из немногих среди многих миллионов ныне живущих, большая часть жизни которых прошла под красным флагом, Добровольская пишет на первых же страницах своего повествования: «Легко сказать “береги честь смолоду...” Увы, все мое поколение “экс”. Важно не оказаться в числе застрывших, осмыслить, что с нами произошло, и не бояться признать, что в советских мерзостях все мы косвенно виноваты». И про более позднее время: «Все мы, так называемая творческая интеллигенция, принимали от нее привилегии – дома творчества, путевки в Карловы Вары, поликли-

нику, тиражи, то есть фактически, кто больше, кто меньше, сознательно или нет сотрудничали с ней и несем за это ответственность. Как и наши итальянские коллеги, состоявшие в PNF (национальной фашистской партии)».

А слушаешь и считаешь других людей ее и близко го поколения – так получается сплошное «не состоял» и «не участвовал». Хотя писали многие очень близко к желаемому властью и поступали так, как не должны бы были и как не поступала героиня повествования: «Моя сила была в пассивном сопротивлении: никто никогда не заставил меня «жить по лжи», думать, писать или переводить не то, что хочу». Ее духовное развитие шло явно по восходящей, тогда как у многих ее сверстников – по нисходящей. Советское время толкало к этому. Ее подруга юности, дочь знаменитого физиолога А. Д. Сперанского говорит: «– Подумай, какой гад-антисоветчик этот Ростропович! Уехал! И прихватил ценную виолончель, которую ему подарил папа... А ведь какая была хорошая девчонка, моя подруга Таня Сперанская».

Потом – ТАСС, потом – лагерь, потом – переводы с итальянского – преподавание (уже упоминалось, чем оно кончилось), и вновь – переводы. Ее все чаще хотят видеть приезжающие люди итальянской культуры – и все чаще готова использовать для этих встреч власть.

Она старалась водить итальянских гостей на лучшие спектакли, в том числе, маргинальные, годами (если не десятилетиями!) пробивавшиеся на сцену, но и после успеха не отражавшиеся в прессе.

Но гости ведь этих деталей не знали. «С десяток счастливыхчиков я сводила к Спесивцеву на пьесу Шукшина о Степане Разине «Я пришел дать вам волю». Невозможно передать, как я своим левакам угодила – и формой и содержанием... Итальянских гостей распирало от восторга, они вообразили, что Спесивцевых у нас навалом».

Марчелло Вентури выпускает о Юле Добровольской роман «Улица Горького 8, квартира 106». Не меньше половины там – легенды. Но Юлия Добровольская – поразительно яркая, а потому неизбежно мифогенная личность. Тут уж ничего не попишешь.

«...Правда ли, что у нее был роман с Хемингуэем? Первый раз я услышал об этом в Москве. Или это легенда, что она была прототипом Марии в “По ком звонит колокол”? Меня пожирало любопытство, но я стеснялся спросить».

«Одно меня поражало: как сквозь войны и Гулаг эта статуэтка хрупкого северского фарфора дошла до нас, не разбившись! Может быть, внутри был стальной каркас, либо пережитое сделало ее несгибаемой. Я представлял ее той, преж-

ней, какую ее, вероятно, знал Хемингуэй именно тогда...»

Об этом романе, известный историк СССР Д. Боффа в своей уже посмертно изданной книге «Воспоминания из коммунизма» с подзаголовком «Доверительная история со-рокалетия, изменившего облик Европы», пишет, что его воспоминания «не совпадают с тем, что пишет в своей книге Марчелло Вентури. Кое-какие важные эпизоды я узнаю, они нам тоже были известны, однако в моей памяти начисто отсутствует та давящая атмосфера, которая царит в повести Вентури. Мы тоже знали о переживаниях Юли, сочувствовали тому, что с ней было потом, но нельзя забывать и о другом, о беспечности, восторженности, радости жизни!»

У Д. Боффа – свой взгляд на наш XX век. В «Истории Советского Союза» он осуждающе пишет о Фултонской речи Черчилля 1946 года, цитируя слова о том, что СССР желает воспользоваться «плодами войны и получить возможность неограниченного распространения своего могущества и своей доктрины». Но ведь именно так и обстояло дело в реальности, и после окончания II-й мировой войны Сталин успел развязать несколько войн в разных точках земного шара. Его преемники то с большим, то с меньшим успехом продолжали попытки «неограниченного распространения», и все это ощущалось в самом воздухе, которым все мы дышали...

Потому героиня книги Вентури дает свои комментарии к упрекам автору по поводу «давящей атмосферы»: «...За столько лет не понять, что наше русское гостевание в уду-

шающее советское время было особым явлением (не случайно в новых социальных условиях оно сходит на нет), нишей, где мы укрывались, чтобы обмениваться правдивой информацией, где извне обесцененная личность могла самоутвердиться!»

Итальянцам нравилось у нас. Нравилось непоказное радушие, застольное веселье, очевидная природная жизнерадостность – они, как стало постепенно ясно, путали ее с социальным оптимизмом. Они видели ярких, веселых, талантливых, волевых и энергичных людей, спаянных дружбой в общей беде, – и думали, что строй способствует расцвету таланта и веселью... Помню, как в самом конце, наверно, 70-х, познакомилась со славистом, симпатичным профессором Баццарелли. Застолье у Аллы и Лени Латыниных было живым, дружеским. Профессор стал говорить, как они, итальянские интеллектуалы, нам завидуют: «У вас – солидарность! У вас есть общие задачи, вы за них боретесь!» «Господи! – воскликнула я. – Да заведите у себя советскую власть, установите цензуру – да и боритесь с ней!»

4

Как «невыездная» Юлия в течение четырех лет пыталась выехать в Италию по приглашению правительства (!), чтобы получить присужденную ей очень престижную премию по культуре, – эта живо рассказанная в книге история воскре-

шает «дела давно минувших дней». Невозможно читать равнодушно описание того, как принимали ее люди культуры Италии – после четырехлетнего ожидания желанной гостьи. Итальянцы знают толк в том, как сделать что-то красиво!

История того, как в течение двух последующих лет Юля и ее итальянские друзья обдумали и осуществили ее легальный отъезд из России навсегда, – это детектив, который нет смысла пытаться пересказывать: ни один, уверена, читатель книги не пролистнет его равнодушно. Как именно уезжали люди из России в советское время, уверенные, что они больше никогда не увидят своих родных и друзей (напомню, что всех уезжавших власть объявляла предателями и изменниками, их имена вычеркивались из афиш, не могли больше упоминаться, их книги изымались из библиотек и книжных магазинов, сами они, разумеется, лишались права когда-либо посетить свою родину, а также пригласить кого-либо к себе в гости), – это стоит узнать тем, кто не застал наших драм и трагедий.

А потом в книге Добровольской начинается вторая драматическая история, но рассказанная уже коротко, пунктиром: как после ее переезда в Италию *те же самые* люди, которые носили ее на руках, теперь прерывали или резко охлаждали свои с ней отношения... Будучи либо членами итальянской компартии, либо сочувствуя ее программе, они были глубоко оскорблены (или делали вид?..) тем, что она покинула страну победившего социализма и тем самым станови-

лась живым опровержением их многолетних пропагандистских усилий.

Она стала преподавать в университетах – и выучила постепенно многих славистов Италии. Теперь в любой точке мира они опознают друг друга по прекрасному русскому языку: «Вас тоже учила Добровольская?» В течение семи лет составила потрясающий итало-русский, русско-итальянский словарь – с таким богатым набором русских эквивалентов (включая самые современные), каким сегодня не может, пожалуй, похвастаться ни один словарь какого-либо другого языка. Верстку огромного тома она читала, ездя каждую неделю в поезде из Милана в Венецию и обратно – вести семинары в университете Венеции. Сказать, что она – работяга, это ничего не сказать о ее работящести и работоспособности.

А потом – *перестройка*, а потом – август 1991 года. И в крохотной не только по западным, но и по нашим меркам квартирке Добровольской перебивали едва ли не все ее российские друзья – на что ни она, ни они нисколько, нисколько не надеялись.

В книге немало исторических анекдотов нашего времени. Я уверена, что это – интересное чтение не только для тех, кто с тяжелым чувством, а порой с горьким смехом узнает очертания своего времени – того самого, которое поглотило жадным зевом, безо всякого прироста стране, народу и кому бы то ни было, огромную часть жизни нескольких поко-

лений. Это будет интересно и тем, кто совсем или почти совсем не имеет о нем представления.

...Я позвонила Юле, чтоб сообщить ей, что вчера вечером закончила предисловие к ее воспоминаниям. Она сказала: «А знаешь, что произошло вчера вечером со мной? Звонок в дверь. На пороге – симпатичный молодой человек. Он предлагает мне купить... газету «Коммунист», которая издается в Миланском государственном университете! Тут я – впервые за долгие годы – потеряла контроль над собой. Я стала кричать на него: «Вы же видели табличку на двери? Вы видели русскую фамилию? И вы смеее предлагать эту газету мне – мне, которая знает на деле, что такое – коммунисты у власти?.. Возьмите лучше в руки книжки – почитайте, сейчас об этом уже много написано!» И захлопнула дверь перед его носом».

«В Италии она тоже столкнулась и с хорошим, и с плохим, – пишет Марчелло Вентури в своем романе, – это судьба тех, кто плывет против течения, кто не хочет петь в хор. ...Несмотря ни на что, она улыбается.... В общем, вся ее жизнь – это легенда, но вся она – правда». Тогда, пожалуй, то, что «Постскрипtum» Ю. Добровольской выходит в России в издательстве «Алетейя» (в переводе с греческого – «правда»), – тоже не случайность.

Мариэтта Чудакова

Кустарь-одиночка

Я человек несерьёзный (и несериозный), в том смысле, что не принимаю себя всерьёз. Поэтому в тоге мемуариста как-то себя не вижу. Знаю: в 86 лет пора, по солженицынскому завету, вставить свой камешек в мозаику истории, это – долг каждого прожившего жизнь человека, не то её, историю, исказят, напишут, как водится, победители. Со всех сторон слышу: пиши! Дескать, *memento mori*. Я согласна и сколько раз обещала, но руки не доходили: два университета в разных городах (иначе не прожить), пособия, словари, переводы, – без передышки, зимой и летом. И ещё: мне интереснее Сегодня и, пусть куцее, но Завтра, нежели Вчера. Однако час пробил, некуда деваться: по разным причинам в 2003 году кончились университетские контракты и даже формально я с этого года на пенсии (аж сто восемнадцать евро в месяц). Попробую жить на гонорары. Доведу до конца то, что начато, то есть вещи, куда более нужные, – здесь, сейчас, чем мемуары, которые то ли получатся, то ли нет; после чего, дай Бог памяти, вспомню годы той, другой жизни (1917–1982) и вкратце опишу жизнь нынешнюю, подаренную судьбой (1982–...?).

То, что я не принимаю себя всерьёз, имеет серьёзные основания. Я по натуре кустарь. Мне и в 60-х годах претило защищать кандидатскую диссертацию, хотя предлагали на

блюдечке с голубой каёмочкой – за честь готовый «Практический курс итальянского языка». Какой я учёный! И вкуса к теории у меня нет.

Несерьёзно было настрочить за четыре года в поезде Милан-Триест и обратно, вдали от библиотек, полагаясь только на (не очень хорошую) память, университетский курс русского языка для итальянцев – “Il russo per italiani», но раз выпало преподавать, то не по кондовым же советским учебникам!

И не дерзостью ли было с моей стороны накатать «Азбуку перевода» (“L’ABC della traduzione”)! Но тоже жизнь заставила. Тут такого предмета вообще не существовало. Моя завкафедрой в Миланском университете считала, что переводчиками либо рождаются, либо уж никогда не становятся, стало быть, обучать теории, а тем более практике перевода, бессмысленно. Но ведь даже Микеланджело ходил в подмастерьях, учился ремеслу!

Легкомыслие, с каким я согласилась составить русско-итальянский и итальянско-русский словарь (2500 страниц), тоже для меня характерно. Одержимая идеей создать подспорье для переводчиков, я сиднем просидела семь лет, одна, – никого подходящего в соавторы вокруг не было. Хорошо ещё, что моя бывшая ученица, а ныне коллега и друг Клаудия Дзонгетти взяла на себя всю компьютерную часть, без Клаудии мне бы не сдюжить. Опять же – никаких карток, никакой лексикографической дисциплины, как это бы-

ло когда-то в московском издательстве «Русский язык» с редактором Раей Бугреевой, а была только готовность растолковать, как выбирать нужный синоним, как быть с переводом словосочетаний, идиом, реалий, неологизмов, пословиц и поговорок.

Мой итальянский редактор отчитывал меня:

– Помните. что вы пишете словарь, а не роман! (Кое-кто действительно читает его сегодня подряд, как книжку, а я и рада, поощряю: поучительно).

Или:

– Ваше предисловие недостаточно академично, в издательстве Hoepli так писать не принято!

Это его не устраивал мой домашний стиль, в частности, пылкая поименная благодарность друзьям, семь лет поддерживавшим меня морально и материально. Всё равно вышло как я хотела – хорошо ли, плохо ли, не мне судить, но по-моему. Во время презентации первого тома я своего миланского издателя Ульрико Хоэпли, который рвал и метал по поводу того, что в Москве вышло пиратское издание, утешала:

– Сами посудите, вор плохую вещь не украдёт, раз украл, значит стоило.

Успокоимся на этом!

1. Начну, как полагается, с самого начала

Я родилась на Волге, в Нижнем Новгороде, 25 августа 1917 года, между буржуазной Февральской и так называемой пролетарской (Октябрьской) революциями. Затрудняюсь сформулировать, какой именно, но, думаю, какой-то скрытый смысл в этом коротеньком «между» есть.

Мой отец Абрам Бенцианович Бриль, старший сын многодетного витебского плотника, любил деревья (я тоже люблю деревья), в доме всегда пахло стружками. Ещё гимназистом мечтал о Лесном институте, репетиторством накопил денег и добился своего: уехал в Петербург, одолел процентную норму и поступил в престижный Петербургский Лесной институт, готовивший учёных лесоводов. Учился тоже на медные деньги – давал уроки; во время летних каникул ездил в помещичьи имения натаскивать к экзаменам лоботрясов-однокурсников. Запомнился его рассказ о папаше-помещике, который любил огурцы с мёдом. И о том, как испортил глаза, занимаясь по ночам, при керосиновой лампе; пришлось рано надеть очки.

Вообще-то отец мой был немногословен, тих, добр, сродни чеховскому доктору, заклинавшему людей не губить леса, он прожил совсем не счастливую жизнь и умер в 58 лет: бло-

кадную зиму в Ленинграде они с мамой пережили, но сердце было загублено.

В 1916 году, по окончании института, его направили в нижегородскую губернию смотреть за полутысячей километров лесного массива. Он женился на моей 18-летней будущей маме и увёз её в лес, где ему, лесничему, полагались дом, выезд, то есть лошадь с двуколкой, и денщик. Его мечта сбылась. Мама же, Вера Соломоновна, в девичестве Заубер, кончившая экстерном гомельскую гимназию (Зауберы до переезда в Нижний жили в деревне), мечтала об университете и засела за книги, благо денщик Прокопий освободил её от забот по хозяйству. Заодно, через год, она сбавила ему и меня, новорожденную. Уму непостижимо, как этот долговязый сорокалетний мужик, холостяк, сумел вынянчить дитё!

Первое воспоминание: сижу (годовалая?) посреди земляничной поляны и никак не могу ухватить спелую земляничину, – ещё не скоординированы движения; мама наблюдает за моими попытками из-за пенька. Второе: я ковыляла одна по двору, и меня сзади подцепила коза. Я изо всех силёнок уцепилась за рога, коза помчалась по кругу, пытаюсь от меня избавиться. От ужаса не было сил даже плакать. Разревелась на руках у подоспевшего Прокопия.

Я была ещё мала, чтобы понять разлад между родителями. Но как разладу не быть? Маме в 19 лет, человеку, как тогда говорили, с духовными запросами, похоронить себя в лесной глуши? Кончилось тем, что отец распростился с меч-

той своей жизни и переехали в Нижний, где он засел в конторе Совнархоза, а в начале 30-х его перевели руководить плановым отделом бумажной фабрики в Ленинград. Работая, он ничего не просил, не требовал, не добивался, чем маму выводил из себя. Я – в него.

С дипломом преподавателя английского языка маму послали в Сормово, под Нижний. (Нижний Новгород стал Горьким только в 1932, когда писатель вернулся из Италии, и Сталин на радостях, что наконец заманил его, дал команду присвоить его имя всему, чему только было возможно: имя Горького носила папина бумажная фабрика, я ходила в библиотеку имени Горького, в театр имени Горького, жила на улице имени Горького.) Послали маму на автомобильный завод, построенный американцами, переводчицей инженера мистера Лаймена. От него остались красавец – кофр, переправленный потом в ленинградскую коммуналку, и у мамы – отличный английский язык.

В Нижнем наша квартира в Плотничьем переулке была настолько просторной, что мы там с дочками дворника-татарина играли в пятнашки. Маму смущала моя непрестижная компания и возмущало, что аппетит появлялся, только когда меня приглашали в дворницкую есть картошку, жаренную на вонючем постном масле (Я была из тех противных детей, которых приходится кормить насильно).

Школа и пионеротряд находились на той же улице, главной улице Нижнего – Покровке, где находился родильный

дом, в котором я появилась на свет. Летом – пионерский лагерь. Одни, без взрослых. Меня, одиннадцатилетнюю, выбрали пионервожатой. Откуда такое сверхдоверие... Неужто от понимания, что детям одним вольготнее и интереснее, что они скорее приобретают самостоятельность, чувство ответственности? Или под влиянием нашумевших на Западе педагогических теорий, на поверку оказавшихся не ахти какой находкой – «Дальтон-план», например, нанёс прямой ущерб. Класс делили на бригады, в бригаде один отвечал за математику, другой за химию и т. д. Я отвечала за литературу, то есть сдавала экзамен по русскому языку и литературе одна за всех. В результате с точными науками у меня дело швах – было и есть, а у других членов бригады хромала грамотность.

Вечерами в пионерлагере вокруг костра, на лесной поляне, пекли картошку и распевали во всё горло:

*Ах, картошка – объеденье-денье-денье-денье,
Пионеров идеал!*

*Тот не знает наслажденья-денья-денья-денья,
Кто картошки не едал.*

Таков был дух времени.

Когда мне исполнилось шесть (шесть!) лет, – мы жили на даче в Великом Враге, – отец подарил мне челнок – выдолбленную из ствола дерева лодчонку с одним веслом. Отвел нас с подружкой, такой же малявкой, на реку и строго наказал:

– Ездить только вдоль берега, ни в коем случае не на се-

редину!

Но стоило ему скрыться из глаз, как мы поехали «качать-ся»: посреди Волги шёл пароход, а от него – высокие, гладкие волны.

Лодчонка, конечно, перевернулась, мы перепугались, нет, не что утонем, а что не дотащим до берега челнок и не поймем уносимое течением весло. Ничего, дотащили и весло тоже догнали.

Стараниями школы, всего, что нас окружало, из нас стремились сделать манкуртов¹. Отчётливо помню себя первоклассницей в шеренге факельного шествия: проходя мимо церкви, где шла пасхальная служба, мы, по команде, что было мочи, вопили: «Бога нет!» В интервью венецианской «Гадзеттино» на вопрос, верю ли я в Бога, я привела именно этот факт, проворчав: «Ещё удивительно, что я соблюдаю десять заповедей».

И ещё – параллельно – была музыка. Мамина младшая сестра Ася училась в консерватории. Не помню, окончила ли она её, только рояль, как тут у нас говорят, «повесила на гвоздь», стала врачом. Но пока суд да дело, отвела меня, кроху, к директору Ле винсону (надо же, вдруг какая память на имена!) Тот ахнул: абсолютный слух! – посадил на плечо и понёс по классам, выходявшим в широкий светлый коридор.

¹ Согласно легенде, восточный царь, дабы беспрепятственно повелевать людьми, заковывал головы мальчикам тугим кожаным шлемом, и вырастали существа без памяти, без воли: рабы.

дор, – демонстрировать вундеркинда коллегам.

Училась я долго – годы, из-под палки. Позднее, в Ленинграде, я, уже шестнадцатилетняя, по своей воле ездила к чёрту на кулички брать частные уроки. Не знаю, как обстоит дело с абсолютным слухом, но навсегда осталась потребность подзаряжать внутренний аккумулятор хорошей музыкой.

Кстати, о музыке. После гамм, сольфеджио, ритмики и пр. мы, будущие моцарты, по дороге домой, садились на свои чёрные нотные папки с выпуклыми Шубертами и Бетховенами и съезжали с высоченной заснеженной горы, пересекая опоясывавшую гору трамвайную линию, – желательно, под самым носом отчаянно трезвонившего трамвая.

В школе каждому полагалось вести общественную работу – иметь «нагрузку». Например, выпускать стенную газету. Отмечать революционные даты, критиковать прогульщиков и т. п. Поощрялся дух интернационализма, ведь вот-вот грянет мировая революция.

В Нижний с папой, американским коммунистом, приехал пионер Гарри Айзман – жертва капитала. Юный политэмигрант выступил у нас в школе с обличением буржуев-эксплуататоров, а я сочинила на эту тему стих (плохой). Мир тесен. Годы спустя, в Москве, я случайно попала на вечер, где после долгой отсидки, Гарри Айзман выступал как борец за мир.

Первый диссонанс в моём радужном советском детстве проскрежетал во время переезда в Ленинград, когда на полпути, в Иваново-Вознесенске, нас сняли с поезда вместе с

ещё несколькими переезжавшими в другие города, а следовательно со всем скарбом, семьями. Гепеушники задержали состав на несколько часов, пока нас всех не обыскали на предмет изъятия ценностей: государству позарез нужно было золото. Обыскивали по-своему, по-тюремному; особенно усердно, гинекологически, – женщин. Но изымать оказалось нечего. В Ленинграде мама снесла семейный золотой запас – доставшееся от бабушки золотое кольцо – в торгсин, чтобы купить дочке-барышне заграничную голубую – чисто шерстяную! – кофточку небесной красоты. Много лет спустя, в МГИМО, незнакомый коллега остановил меня:

– Вы та самая Юля Бриль в голубой кофточке, по которой я вздыхал на университетских балах?!

Видимо, другой у меня много лет не было.

Иваново-Вознесенский шок я как-то отторгла; взрослые ни словом о случившемся при мне не обмолвились. В советские годы лучше было, наверное, не иметь детей, чтобы не возникала дилемма: открыто разговаривать при них, обрекая на раздвоение личности, чтобы со своими говорили одно, а прилюдно – то, что положено, или таиться. Мои родители выбрали второе, жалея меня (и себя). Своего дядю, Малева, мужа другой маминой сестры, Лены (на которую я похожа – рыжей мастью, голосом), костившего на все корки советскую власть, я не переваривала. А поняла и оценила за ум и проницательность много позже, когда поняла что к чему. Он был самородок, умножал трёхзначные числа в уме,

но после двух арестов сник, испугался на всю жизнь.

Итак, Ленинград. Школа на углу Большого и Каменноостровского. Первые свидания под часами. Комсомолка («комсомольска», как пишет мой биограф Марчелло Вентури). Радость жизни, такая естественная в юности, накладывалась на оптимизм, предписывавшийся советским людям, которым «жить стало лучше, жить стало веселее». Меня усаживают за разбитое пианино в спортзале, обступают и – самозабвенно – хором:

*Много славных девчат в коллективе,
А ведь влюбишься только в одну!
Можно быть комсомольцем ретивым
И весною смотреть на луну.
Как же так, на луну,
И смотреть всю весну,
Почему, расскажите вы мне!
Потому что у нас
Каждый молод сейчас
В нашей юной, прекрасной стране!*

Или ещё что-нибудь в таком же высокохудожественном роде.

Странно, что я не до конца отдавала себе отчёт, насколько вирши были глупые, безвкусные, а, главное, фальшивые. Небось, мою тюремную подругу Нину Ермакову, когда она запела из той же оперы, но в камере:

*Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек,
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек, –*

на десять дней упекли в карцер.

По счастью, мне попалась толковая учительница литературы, – негромкий, но живой голос, Варвара Ивановна Бахилина, внушавшая: старайся думать своей головой. А всё-таки сочинение о Маяковском, за которое мне на конкурсе Горно присудили премию, было не о превосходном поэте-лирике, а о «поэте революции». В те годы молодёжь сходила с ума по громкоголосому поэту-ниспровергателю, трепетно влюблённому в рыжую красавицу по имени Лиля Брик. В результате меня стали дразнить то «Юлей Брик», то «нашей Лилей Брик», не встречая с моей стороны возражений, напротив. Думала ли я тогда, что жизнь меня сведёт с настоящей Лилей Брик в Переделкине, где моя подруга Тамара Владимировна Иванова, жена писателя Всеволода Иванова и мать знаменитого лингвиста Вячеслава Иванова, Комы, уступила Лиле с мужем, Василием Абгаровичем Катаняном, часть дачи. Не гадала – не думала, что мы подружимся.

К этому времени у меня уже был братик Лёва. Разница в шесть лет сказывалась, я его почти не замечала. А он смотрел на меня с восхищением, хвастался приятелям старшей сестрой. Незаметно вырос, вытянулся, похорошел, стал звез-

дой школьной самодеятельности; особенно удачно сыграл в «Разбойниках» Шиллера. Поступил в театральный институт. 25 января 1945 года, в день рождения мамы, в возрасте двадцати одного года, был убит под Кенигсбергом. Отец после войны разыскал могилу, в письме ко мне обозначил её крестиком, а я под Кенигсбергом увидела только распаханное колхозное поле. Мы с Сашей Добровольским обошли все инстанции; куда делась братская могила с тремя лейтенантами, никто не смог или не захотел сказать.

Взрослым я видела Лёву, когда он написал мне после ранения и Саша добился его перевода в Московский госпиталь. Я ходила к нему каждый день: на заострившемся лице всё та же лучезарная улыбка; при виде меня, так мало ему в жизни давшей, всё тот же обожающий взгляд. Он ещё хромал, когда его вернули на фронт. Осталась маленькая – на документ – фотография в пилотке и всё.

Ленинградская школа, где он учился, и Театральный институт на Моховой устроили выставку его фотографий в разных ролях.

2. Могучая кучка

В девятом классе учился со мной Володя Р., долговязый парень – не как все, весь в себе. Однажды на уроке агрономии (был и такой предмет) на вопрос учителя о сорных травах Володя, став в позу, продекламировал стихотворение Апухтина о васильках. И был исключён из школы. На следующий день он ждал меня после уроков, под часами. Открыл тайну: у него дома (он жил в большой некоммунальной квартире с мамой, зубным врачом, где у него была своя – своя! – комната) регулярно собирается «Могучая кучка». Не из пяти композиторов, а из пяти высоколобых старшеклассников, каждый со своим хобби: ботаникой, физикой, биологией, астрономией; Володя был философ, читал Гегеля в оригинале. Члены кучки делали доклады о прочитанном, узнанном, продуманном, придуманном. Так вот, если я хочу, то могу примкнуть. Девочек в «кучке» не было и, видимо, не случайно; но, будучи главным, Володя надеялся пробить мою кандидатуру. Неделя на размышление.

Что-то во мне разыграло, и я согласилась. Для вступления требовалось изложить кредо: кто ты есть, зачем живёшь на свете, кем хочешь быть, что и кого ценишь, чем пренебрегаешь, что отвергаешь и пр., и пр. «Могучая кучка» была типично российским явлением. Ещё Достоевский писал: «Русские мальчишки вечно тянутся к тому, чтобы решить самые

коренные, самые главные вопросы: как жить, во что верить, что ненавидеть, чему молиться». Я, естественно, ни о чём таком не задумывалась, поэтому, прежде чем изложить своё кредо на бумаге, должна была разобраться в себе.

С выбором профессии дело обстояло просто: ясно, что гуманитарная. Что же касается мировоззрения, пришлось (впервые) раскинуть мозгами. Долго не засыпала, ворочалась, мысленно отвечая на вопросы, зажигала лампу, вскакивала, писала, зачёркивала, бросала написанное в корзину, начинала сначала.

Приняли меня единогласно, но свербило: по большому счёту или по благу? Что ж, месяца через три, когда я сделаю свой первый доклад, выяснится. О чём доклад? Решила: западная литература. Взяла университетский курс Петра Когана и стала продираться сквозь замысловатую литературоведческую терминологию, исторический фон (учебник был вульгарно-социологический), памятники мировой литературы. Корпела дни и ночи. На мой взгляд, доклад получился. Я ждала аплодисментов, но приняли как должное.

Только годы спустя я поняла, как это сверхусилие сказало на моём в общем-то инертном характере. Не оттуда ли упорство, с каким я, в одиночку, сочиняла семь лет Большой русско-итальянский / итальянско-русский словарь...

«Могучую кучку» ждал скоропостижный конец. Прибежала горбатенькая, добрейшая Ольга Фёдоровна, заведующая районной библиотекой (она снабжала «Кучку» книгами)

и – шёпотом: «Ребята! Могучей кучки не было, нет и не будет. Все по домам!» Накануне, 1 декабря 1934 года, был убит Киров, заработала кровавая мясорубка репрессий. И стар, и млад – любой мог в неё угодить.

Володя впал в депрессию, у него открылся туберкулез. Зимой мать отправила его к старой няньке – «на воздух», под Ленинград. Я навещала его. Он таял на глазах и меньше чем через год умер.

Трудно сказать, удалось ли мне воплотить в жизнь своё кредо. И нельзя проверить: листок не сохранился, в каких словах я, шестнадцатилетняя, свои немудрящие мысли выразила, не помню. Уверена лишь в одном, что те мои десять заповедей шли от Пушкина, Чехова и Толстого. Тогда книги занимали главное место в жизни и служили противоядием всеобъемлющей лжи.

Приведу один случай. На филфаке (бывшем ЛИФЛИ), куда я поступила в 1935 году, ещё преподавали такие корифеи, как Жирмунский, Гуковский, Иван Иванович Толстой, Пропп. Но вот грянул 1937 год. Профессура на глазах редела. Так же регулярно, как лекции и экзамены, проходили в актовом зале общие комсомольские собрания: исключали детей врагов народа. Народ, как водится, безмолвствовал, голосовали «за».

В тот день, когда наступил черёд моего друга, однокурсника Мирона Т., я кинулась на трибуну его защищать. Парень он был талантливый, тоже не как все и весь в себе. Что

не удивительно: при поступлении в университет он скрыл, что отец был расстрелян за саботаж (как потом выяснилось, безвинно). Мирон отделался строгим выговором: то ли сделали скидку на «чистосердечное признание», то ли возыме- ла действие моя пламенная речь. Это было моё первое пре- одоление страха. Не исключено, что просто из эгоизма: про- молчи я тогда, меня бы заела совесть.

Востребованный «Могучей кучкой» отчёт о мировоззре- нии зря не пропал. Сформулировать кредо значило сделать первую попытку избавиться от тисков манкурта, поработать головой. Меня не было 25 августа 1968 года среди семерых, что, по словам Гавела, спасли честь России – вышли на Крас- ную площадь с лозунгом «За вашу и нашу свободу». Был только жгучий стыд за свою окаянную родину. С диссиден- тами мои пути не пересеклись, да и не тянула я по накалу от- чаяния, по смелости. Была как все вокруг меня – слушала по ночам Би-Би-Си, читала самиздат и тамиздат; «Хроника те- кущих событий» на папиросной бумаге переворачивала ду- шу; прочитав солженицынский «Архипелаг Гулаг», осозна- ла: никогда не прощу.

Моя сила была в пассивном сопротивлении; никто нико- гда не заставил меня «жить по лжи», думать, говорить, пи- сать или переводить не то, что хочу. И, как ни парадоксаль- но, – в тяге к донкихотам, а не к победителям. И профессию я выбрала донкихотскую, перевод, требовательную и небла- годарную.

К счастью, в Италии, у меня, лишившейся коренных друзей и Таганки, всё же, нашлась отдушина: круглосуточная частная радиостанция Radio radicale, орган радикальной партии с эмблемой в виде отощавшего – один нос – Ганди, принадлежащая кучке донкихотов, сгрудившейся вокруг двух уникалов: Марко Паннеллы и Эммы Бонино, – остров ума, бескорыстия, интеллигентности, фермент неповоротливого итальянского общества.

Недавно, в октябре 2003 года, в Милане произошло невиданное: трёхдневная конференция «Праведники Гулага», задуманная писателем Габриэле Нисимом, охотником за праведниками – такими, как те, кому сажают деревья в Иерусалиме. Конференция состоялась в театре Франко Паренти, таком же сараеобразном, как когда-то моя ненаглядная Таганка. Впервые в Италии, которая – если не считать социалиста-антикоммуниста Кракси – проигнорировала советских диссидентов (вездесущая ИКП была на коште у КПСС), дали слово гостям Наталье Горбаневской, Елене Боннер-Сахаровой, вдове Александра Гинзбурга Арине, от Солженицина – Елене Чуковской, внучке Корнея, Сергею Ковалёву, от пермского мемориала – Шмыреву и Рогинскому, Никите Струве, сыну Юлия Даниеля – Александру... Выступили и здешние (нас мало) – Витторио Страда о Василии Гроссмане, Юрий Мальцев, сам посидевший в психушке, – о Петре Григоренко, Манукян и Вирабян об армянском геноциде, неустрашимый Виктор Заславский, профессор римского университета

Льюисс.

Я просидела все три дня. Комок в горле ещё долго не отпуская, это было моё, кровное, за двадцать итальянских лет прозвучавшее во весь голос в первый раз. Гости конференции – полторы тысячи учащих старших классов – услышали, чем и как мы жили, и были ошеломлены – в школе этого не проходят, более того, это замалчивают.

Радостно было встретить Арину: у нас с ней есть связующее звено – писатель Лев Разгон. Он работал когда-то в Детгизе с её матерью, уговаривал её не препятствовать браку дочери с А. Гинзбургом (браку, оказавшемуся счастливым, несмотря на все испытания). Конец второго дня Елена Чуковская посвятила нам с Бьянкой Балестрой, точнее, презентации в Католическом университете нашего перевода «Высокого искусства» Корнея Чуковского. Потом гурьбой ко мне на Corso di Porta Romana. Елена – светлая личность.

В истории с Мироном я первый раз в жизни столкнулась с человеческой подлостью. За несколько дней до собрания он позвонил из автомата, я уже легла спать, настоял, чтобы я оделась и вышла к нему на мороз, так как он должен сообщить что-то очень важное. И поведал печальный и опасный секрет своей биографии. Трудно было понять из его путаных слов, что он намерен делать, – идти в комитет комсомола с повинной или кончать с собой. Когда на другой день его не оказалось на занятиях и выяснилось, что он не ночевал в общежитии, я заметалась: что с ним, что делать? Решила по-

советоваться со своей подружкой – умненькой, хорошенькой блондинкой Таней И. По её мнению, надо было ждать. Потом выяснилось, что Мирон трое суток бродил с рюкзаком где-то за городом по лесу и вернулся с решением жить дальше: идти каяться.

На собрании Таня, не мешкая, первой, взяла слово в «прениях» и возмутилась: о каком чистосердечном признании вы говорите? Мирон был просто вынужден признаться, потому что накануне проговорился настоящей комсомолке (то есть мне) и понял, что она выполнит свой комсомольский долг (то есть донесёт).

Тут я света божьего невзвидела и произнесла знаменитую речь. Тане стало всё же не по себе, – на курсе повеяло остракизмом, – и она перевелась в какой-то сибирский университет. Никто больше ничего о ней не слышал. А Мирон, хоть и не сбрил после строгача бороду – по тем временам борода была отягчающим обстоятельством – и, гигиенист, не изменил привычки закаляться, ходил весь год без пальто и без шапки, ещё больше замкнулся в себе. Я его жалела. Простила ему все грехи – и то, что устроил из меня посмешище: повесил мою фотографию (стащив с доски отличников факультета) над своей кроватью в общежитии на всеобщее обозрение, и то, что несмотря на сцену, которую я ему закатила, козырял «часами», где вместо механизма в корпус была вставлена другая, миниатюрная, карточка. Злополучные часы я, в конце концов, сорвала у него с руки и бросила в Мой-

ку. Всё простила. Более того, мы подружились. Зная, что мне предстоит экзамен по истории философии, а я прохлаждаюсь в доме отдыха в Пушкине (нельзя было не воспользоваться «горящей» путевкой), он примчался в горячую экзаменационную пору погонять меня по предмету, который он-то знал назубок. Будучи на десять голов выше нас всех, он практически кончил университет с волчьим билетом: получил назначение преподавателя литературы в Бурятию, но даже там не удержался, потому что уличил директора школы в воровстве.

Нигде «куркули» его, борца за правду и «социалистическую законность», не хотели. Бурятка, на которой он женился, не простила ему, что, вместо чемоданов с добром, единственным трофеем, который он привёз с войны, был немецкий солдатский ремень с надписью на пряжке «Gott mit uns» – «С нами Бог», и они разошлись. Вторая жена была гуманнее. Народила ему хороших детей. Однако ближе Абакана Мирона так и не пустили. Он писал мне длинные письма похожим на иероглифы почерком. Приезжая в Москву, в «Известия», в очередной раз добиваться справедливости – не для себя, для других, – непременно заходил. В последний раз, перед моим окончательным отъездом пришёл, обнял и сказал:

– Юля, не забывай родину!

Родину... твою мать! Хоть стой, хоть падай!

3. Второй диссонанс

Уверенно сдав приёмные экзамены в университет, я среди принятых себя не обнаружила, моя фамилия числилась в списке кандидатов. В этом втором списке были вчерашние школьники, а в первом – люди с трудовым стажем, в годах. Но поскольку к занятиям были допущены все, и мы, с молодыми мозгами, давали десять очков вперед рабочему классу, никто из нас не тревожился, – до тех пор, пока в конце первого семестра кандидатов не отчислили.

С сердцем, разрывавшимся от горя и обиды, пролежав на диване три дня, не евши-не пивши, никого не желая видеть, не отвечая на звонки, я отправилась наниматься на работу в какую-то захудалую библиотеку.

Мама написала письмо Сталину, де, батюшка, заступись, тут вопиющая несправедливость. Ответа, естественно, не последовало.

Вдруг недели через три ко мне в библиотеку прибежали две мои школьные подруги Мирра Альванг и Таня Сперанская; они поступили – одна на химфак, другая на биофак – и очень переживали за меня.

– Юлька, дело в шляпе! – ликовала Таня. – Завтра иди на занятия!

Танин папа, Алексей Дмитриевич Сперанский, знаменитый физиолог, директор ВИЭМа (Всесоюзного Института

экспериментальной медицины), вхожий к Сталину, позволил в обком партии и всё уладил.

Горько было возвращаться в университет по благу и несправедливо: мои товарищи по несчастью теряли год.

Человек он был разный, Алексей Дмитриевич. Лев Разгон, друживший с ним в молодости, в «Непридуманном» сильно ему кое за что пеняет и посмеивается по поводу того, что ВИЭМ был задуман с одной целью – обеспечить вождю народов если не бессмертие, то хотя бы долголетие. Но как я могу забыть, что Сперанский вытащил меня из психологической ямы! Он нас, великолепную четвёрку, любил; мы всё время мельтешили у него перед глазами в огромной бывшей княжеской квартире с зеркальными окнами на Неву: делали уроки, готовились к экзаменам. В семье было много горя. Танина мать то и дело в психиатрической клинике, младшая сестра с костным туберкулёзом – в санатории, в Крыму; Таня после школы уехала в Москву, вышла замуж за сына Самуила Маршака и разошлась. Почему-то, окончив биофак, не занялась наукой, а стала секретарём парткома института. Неудивительно, что, живя в одном городе, мы с ней не виделись. Встретились только на сорокалетию окончания школы, в Ленинграде, в нашем когдатошнем классе. Это сложное мероприятие – ведь все разъехались кто куда, надо было разыскать, списаться, организовала наша Мирра, сейчас бы сказали, «пиар» – менеджер каких мало. Мы бродили по школьному коридору, растроганные, читали на до-

щечке, подвешенной на грудь, имя-фамилию владельца, и происходило узнавание, проступали знакомые черты. Учительниц было две: моя любимая Бахилина и немка Фредерика Эрнестовна Урекки (похвали за память, читатель!) Мы нежно любили друг друга, клялись: будем встречаться! Ещё и поэтому так резанула слух злобная Танина фраза на обратном пути, в такси:

– Подумай, какой гад-антисоветчик этот Ростропович! Уехал! И прихватил ценную виолончель, которую ему подарил папа (отец и дочь Сперанские играли на виолончели).

А ведь такая была хорошая девчонка, моя подруга Таня Сперанская! Весельчак, фантазёрка, великая выдумщица. Есть фотография: мы вчетвером – Мирра, Таня, Марина Чумакова и я – в квартире на набережной Невы готовимся к балу-маскараду в Мраморном дворце. Алексей Дмитриевич заглянул к нам и долго хохотал над Миррой – кроликом, Таней – коньком-горбунком, Мариной-кошкой и надо мной, изображавшей кинозвезду Любовь Орлову в фильме «Цирк», в парике маркизы, в цилиндре, и – поверх черной амазонки со шлейфом – сетке от гамака.

Кстати, не Танька ли в пятом или шестом классе придумала, что нам необходимо съездить в Мурманск – посмотреть северное сияние? Мы жили в одном из красивейших городов мира, люди приезжали со всех континентов, чтобы увидеть шедевры Растрелли, Росси, Кваренги, Царское село, Петергоф, сходить в Эрмитаж, в Мариинский театр, подивиться на

белые ночи. Но нам было мало, подавай ещё северное сияние!

Где, однако, достать деньги на билеты? У Мирры были в копилке; Таня продала за бесценок какому-то хмырю свой велосипед; я пошла к маминому брату Борису, и он, благородно не спросив, зачем они мне, дал пятьдесят рублей. Роковую ошибку совершила Марина: отец перед тем, как уехать в командировку, обещал ей на день рождения некую сумму, и она написала ему, чтобы он срочно выслал ей деньги. Папа позвонил маме, Маргарита Ивановна забеспокоилась, устроила дочери допрос с пристрастием, и та раскололась. Так долго лелеемый план рухнул.

Однако в Мурманск я все же попала – в 1939 году, возвращаясь из Испании через Францию морским путем, но не через Кильский канал, как за год до этого, а в обход. Прогу ливаясь по перрону вдоль поезда Мурманск-Ленинград, я подслушала несколько реплик на окающем наречии. Мужичонка, сидевший на корточках с самокруткой в зубах, в ответ девочке, заглядевшейся на меня, возразил: «А так хучь пенёк наряди, и тот хорош будет!»

4. В учении у В. Я. Проппа

Главным человеком моих университетских лет был преподаватель немецкого языка Владимир Яковлевич Пропп. Мы, зелёные первокурсники, не знали, что перед нами учёный с мировым именем и что возится он с нами вынужденно: автора «Морфологии сказки», великого фольклориста, в 1928 году так проработали за формализм, что он стал парией. Но надо было на что-то жить, содержать семью, и он нашёл себе нишу в преподавании языка. В. Шкловский, тоже хлебнувший горя, не желая рисковать, публично отрёкся от своих провидческих идей и гневался, когда ему напоминали об этом. Пропп же, от природы человек замкнутый, ушёл в себя, умолк, заперся на замок в своём убогом жилище на первом этаже, – квартиру ему дали только под конец жизни, – и упорно продолжал свои исследования, не сдался.

Этот по внешности Дон Кихот в миниатюре с большими печальными карими глазами и эспаньолкой был феноменально талантлив во всём, что делал; много позже обнаружилось, что он незаурядный прозаик, музыкант, искусствовед, фотограф. И столь же талантливо он преподавал.

Главный секрет его педагогического мастерства заключался в том, что он умел разбудить сначала интерес к предмету и, постепенно, – сокрушительную увлечённость, которая делает чудеса. Даже при скудном вначале словаре, одер-

жимый желанием высказаться, чтобы доказать свою правоту, убедить или оспорить довод собеседника, ученик откуда-то из подсознания выуживает нужные слова и, – пусть с ошибками, – но изъясняется!

Непременное условие для этого – исходить из содержания ни в коем случае не банального школьного текста, окружённого гарниром из диалогов на двух языках и дополнительных, всегда познавательных материалов, содержащих сведения об авторе, о стране, конкретные данные для размышлений и споров.

Как сейчас вижу Владимира Яковлевича стоящим в сторонке (для длительных выступлений он менялся местами с докладчиками), в то время как я делаю двадцатиминутное сообщение по-немецки, без бумажки и, видимо, толково, потому что учитель с трудом сдерживает счастливую улыбку. Да, да, счастливую, потому что – и это его третий секрет, – Владимир Яковлевич любит преподавать, любит своих учеников, без громких слов радуется их успехам, наблюдает их стремительный рост, а те радуются его скупой похвале. И образуется некое общество взаимного восхищения – залог высокой успеваемости.

Власти загнали Проппа-учёного в угол; в 1940 обвинили в антимарксизме, в идеализме, в протаскивании религиозных идей; в конце войны, в 1944, когда университет вернули из эвакуации, его как немца, хоть и обрусевшего (отец был из немцев Поволжья) лишили паспорта – не пустили в Ленин-

град, и только заступничество ректора А. А. Вознесенского спасло его от ареста.

Когда Семён Александрович Гонионский, заведовавший кафедрой романских языков МГИМО, где я преподавала, поставил меня написать пособие по итальянскому языку, и когда этот «Практический курс» вышел, то, взяв его, тёпленький, только что из типографии, и полистав, я вдруг поняла, что, не отдавая себе в том отчёта, применила метод Проппа. Отсюда, наверное, его (учебника) долголетие: первое издание – 1964, второе – 2000, последнее – 2010. Видит Бог, получив от московского издательства «Цитадель» в конце 90-х гг. предложение заключить контракт на перепечатку, я отбивалась – учебник устарел, писался в советское время, в годы, когда русская интеллигенция возлагала надежды на итальянских коммунистов, бо они – с «человеческим лицом». Все эти доблестные партизаны, освободители Италии от нацизма (враньё: освободили американцы и англичане) и борцы за мир, науськиваемые Сталиным в своих интересах, – позор на мою голову.

Гостивший у меня в Милане Лев Разгон, слушая мой разговор по телефону с директором московского издательства, делал мне выразительные знаки, – мол, соглашайся, а не согласишься, всё равно напечатают, только ничего не заплатят. Напечатали и даже заплатили тысячу долларов. Выбросили только дополнительный текст на употребление глаголов в будущем времени, а именно – отрывок из речи Хрущева на

съезде партии, на сей раз воспроизведённой в газете «Уни-та», где генсек объяснял, как советские люди, начиная с 1980 года (!), будут жить при коммунизме. (Знаменитый доклад на XX съезде о культуре личности Сталина «Уни-та» зажала).

Есть в «Практическом курсе» и рассказ моего друга Марчелло Вентури, с которым я тогда ещё не была знакома, – под заглавием «Оружие – на дно моря!». Нынешний утробный антикоммунист, в прошлом, до венгерских событий 1956 года, – и коммунист, и партизан, и зав. литотделом «Униты», гневно осуждает в нём империалистов – поджигателей войны. Ну что ж, не будем выбрасывать слово из песни, – что было, то было.

Прав итальянец, с группой волонтеров ездивший помогать чернобыльским детям, что написал мне, на адрес венецианского университета, возмущённое письмо по поводу «красного» «Практического курса итальянского языка», приобретённого им в Москве для русских друзей. «Синьоре Добровольской надо бы самой там пожить, тогда бы узнала!» – возмущался он. Я ему ответила, объяснила, что учебнику более полувека, чего издатель, вопреки моей просьбе, не указал, била себя в грудь, хвалила его за разумный образ мыслей, предлагала любую помощь, но он не откликнулся.

Интересно, однако, что нынешние молодые русские, выучившие итальянский язык по пресловутому «Практическому курсу», его коммунацкого привкуса не замечают: им всё равно! Более того, появилось «Общество итальянистов им.

Добровольской», полагавшее, что я давным-давно на том свете. – Как умерла?! – возмутилась моя венецианская студентка, познакомившаяся в Москве с Сергеем Никитиным, – мне через месяц ей экзамен сдавать!

Легко сказать «береги честь смолоду»... Увы, всё мое поколение «экс», почти все в ней были или числились, в КПСС. Важно не оказаться в числе застрявших, осмыслить, что с нами произошло и не бояться признать, что в советских мерзостях все мы косвенно виноваты. Так считал и отсидевший семнадцать лет писатель Разгон – главный обвинитель, вместе с Владимиром Буковским, на официально так и не состоявшемся суде над КПСС.

Пропповские идеи так вошли в мою плоть и кровь, что когда мне пришлось в Италии менять профессию, преподавать русский язык и сочинять «Русский язык для итальянцев», учебник получился зеркальным отражением «Практического курса итальянского языка», только содержательнее: писала я его уже на свободе, без оглядки на цензора.

С тех пор, как в 1935 году я вошла в класс к В. Я. Проппу, прошло долгих двадцать девять лет, и каких... Понадевшись, что Владимир Яковлевич не забыл меня, я послала ему экземпляр «Практического курса», и вот что он ответил:

Ленинград, 23 янв. 1965

*Liebe Genossin Brill!*²

² (нем.) Дорогая товарищ Бриль!

Дорогая Юлия Абрамовна!

Простите мне это двойное обращение. Дело в том, что я Вас помню только как *Gen. Brill*, помню и как сейчас вижу Вас перед собой, молодую, живую и экспансивную, умненькую студенточку. А из Вашей книги я увидел, что Вы же – Юлия Абрамовна Добровольская, и обязан верить этому тоже, и вот я обращаюсь и к той, и к другой.

Вы не представляете себе, дорогая *Genossin Brill*, какую живую и острую радость Вы доставили мне Вашей книгой, с выходом которой я Вас от души поздравляю. *Erstens haben Sie etwas sehr tuchtiges gelustet*³, и это всегда радостно видеть в своих учениках. А во-вторых, та память, которую Вы обо мне храните, показывает мне, что я не совсем зря жил, что что-то осталось, какие-то семена взошли и дали всходы и плод. Ваша книга мне очень понравилась, методически она мне кажется и правильной, и интересной, что-то от моих установок в ней несомненно есть. Когда-то я за одно лето изучил итальянский язык (мне нужно было читать фольклорные тексты), прочёл целиком «*Cuore*» и, можно сказать, полюбил этот язык, хотя сейчас уже позабыл его.

Теперь я уже сильно старенький, но пока ещё шевелюсь; немецкий я уже лет 20 как не преподаю, читаю курсы русского фольклора.

В университете такой же беспорядок, какой в нём был всегда. Ваша книга, посланная мне 31 дек., была

³ Прежде всего, Вы сделали очень полезное дело.

мне вручена 21 янв. 65 г.

Ich wunsche Ihnen, liebe Genossin Brill, viel Gluck und Erfolge. Sie waren immer eine grosse Optimistin, immer lebensfroh und energisch. Hoffentlich sind Sie so geblieben.⁴

Большое, большое Вам спасибо!

Ваш...

Читая итальянские журналы и газеты (спасибо «журналисту-джентльмену», корреспонденту миланской «Джорно» — Луиджи Визмаре (так мне его представил мой друг Паоло Грасси), снабжавшему меня прочитанными номерами, я вырезала рецензии на итальянские издания Проппа и посылала их ему. Владимир Яковлевич грустно благодарил:

КАРТОЧКА ПОЧТОВАЯ

Куда... Москва

Ул. Горького 8, кв. 106

Кому... Юлии Абрамовне Добровольской

Адрес отправителя:...

Л-град М-66, Московск. Пр. 197, кв. 126. В. Пропп.

24 II 67

Спасибо Вам, дорогая Юлия Абрамовна, за то, что меня не забываете и за присылку рецензии, которая

⁴ Я желаю Вам, дорогая товарищ Бриль, большого счастья и успеха. Вы всегда были оптимисткой, неизменно жизнерадостной и энергичной. Надеюсь, вы такой и остались.

меня, конечно, очень радует. Эйнауди издал уже три моих книги и собирается ещё издать сборник статей.

Увы, в Италии меня знают лучше, чем в СССР!

Всего, всего Вам лучшего! Ваш...

Сдавая экзамены после возвращения из Испании, я обычно получала свои пятерки не за ответы по предмету: невыездным экзаменаторам было интереснее расспросить меня о том, что я видела. Экзамен по немецкому языку вылился в расставание. «Ваш артикуляционный аппарат создан для немецкого», – уверял-укорял меня Владимир Яковлевич. Но пути назад не было. Так же, как когда мне пришлось пожертвовать испанским ради итальянского.

В подаренной мне кем-то когда-то двойной рамочке передо мной всегда два дорогих лица: улыбчивый брат – Лёва в пилотке и Владимир Яковлевич Пропп с большими печальными глазами.

5. Германист и германистка, романист и китаистка: четверо неразлучных

Гриша

Начну с конца. С некролога в «Невском времени» от 10 апреля 2002 года, где мы читаем: «Он человек был в полном смысле слова» – Григорий Юльевич Бергельсон, журналист, переводчик, редактор, педагог. В 1939-45 годах – военный корреспондент в Карелии и Германии, присутствовал на Нюрнбергском процессе, организовывал помощь немецким писателям. В 1947 майор Бергельсон, причисленный к космополитам, пошёл учительствовать в школу, а как полегчало, стал сотрудником издательства «Художественная литература» и преподавателем Ленинградского Педагогического института им. Герцена. Переводил Ницше, Гауптмана, Бёлля, Криту Вольф, Гюго, Фуэнтэса... Абсолютно порядочный, кристально чистый».

Добавлю: добрый, милый, нежный.

В некрологах округляют и преувеличивают, а здесь все правда. Почему же наша любовь сошла на нет? Единствен-

ное объяснение, какое мне приходит в голову, это что мы с Гришей были слишком похожи, из одного теста. И ещё: что мы доросли до возраста любви, не оформившись, неискушёнными, ничего, кроме книжного, о ней не зная.

У меня уж точно было запоздалое развитие – то ли Таня Ларина, то ли тургеневская девушка, то ли продукт культуры патриархальной крестьянской России, то ли филистерского советского воспитания... Какая – то сверхпрюдери. Словом, ненатурально я, двадцатилетняя, была устроена. Когда мне назначил свидание – цинично, без лишних слов, – факультетский сердцеед Женя Н., бывший лётчик и настоящий мужчина, я в последний момент решила остаться дома, придравшись к тому, что в тот день из-за похорон академика Ивана Павлова плохо ходили трамваи. Сковывало и сознание, что имя нам, очарованным Женей, – легион.

Моя сентиментальная биография состоит, в основном, из отвергнутых предложений, упущенных возможностей, несостоявшихся романов. С другой стороны, претенденты непременно хотели жениться, нельзя же так... Иной раз я дорого за это платила. Так, Лев Копелев⁵ в начале 40-х годов люто и бурно возненавидел меня за то, что я не вышла замуж за его лучшего друга Мишу Аршанского, чуть не довела его до самоубийства.

Всеведущее и всепонимающее общественное мнение – считай весь филфак – мне не простило, что я не вышла за-

⁵ Лев Копелев – писатель, переводчик с немецкого.

муж за Гришу. Но хуже всего оказалось то, что по какой-то маловажной причине мы с ним, такие родные, потеряли друг друга и не пытались восстановить связь: он – в Ленинграде, я – в Москве, узнавали друг о друге от общих друзей. Когда в начале 1938 некто в сером из наркомата обороны отбирал в переводчики для Испании отличников, лучший из нас, Гриша, был отвергнут из-за тётки в Америке. Я, не плакса, плакала от жалости, обиды, нежности и даже какого-то ощущения вины перед ним. Они с Лёшей Алмазовым взяли реванш – вечерами работали в детском доме для испанских детей и выучили испанский не хуже нас, отобранных – избранных.

Валя

Валина мать Зоя в юные годы, будучи сестрой милосердия, влюбилась в поправлявшегося после ранения офицера по имени Владимир Исакович; они поженились, и у них родились близнецы – мои одногодки Валерия и Ирина. Только папа в один непрекрасный день исчез – бесследно, навсегда. Зоя умерла, оставив дочек своей сестре – красавице Ксеше, Ксении Александровне Якобсон, первый муж которой был расстрелян; второй, Евгений Ряшенцев, после Испании сколько-то отсидел и рано умер. Он усыновил Ксешинного Юру, ныне известного московского поэта Юрия Ряшенцева.

От помощи академика физика Мандельштама, дяди исчезнувшего зятя, Ксеша гордо отказалась и содержала семью одна – вязала кофточки на продажу. Но нависла сугубо советская угроза: лишиться жилплощади покойной Зои в Ленинграде, двух комнат в коммуналке на Петроградской стороне. И Ксеша отвезла девочек в Ленинград. Им было лет по одиннадцати, когда они начали самостоятельную жизнь, Ксеша наезжала раз в месяц. Кончив школу, они обе поступили на восточное отделение ЛИФЛИ – филфака, Валя – изучать китайский, Ира – японский. Валина комната стала штаб-квартирой нашей четвёрки – великое благо в перенаселённом городе, где в семьях жили друг у друга на голове. Лёша, иногородний, жил в общежитии.

Из какого парка приволокли в Валину комнату и поставили в угол, на пол, мраморную, в изящной сидячей позе, обнажённую деву-нимфу, кем-то прозванную Стеллой Иосифовной, так и осталось неизвестным. Рядом с ней протекало почти всё наше внеуниверситетское общение. Из соседней комнаты иногда присоединялась к нам Ира.

На втором курсе, знакомясь с библиографией для курсовой работы, Валя обнаружила среди авторов монографий профессора Львовского университета Вл. Вл. Исакóвича. Первое потрясение: отец жив. И второе: стало быть, на расстоянии многих километров и лет сработали востоковедческие гены.

Получив после окончания университета назначение кор-

респондентом ТАСС в Пекине, уже одетая в заграничное (полагалось по штату), она никуда не поехала, – кто-то стукнул про папу за границей.

Валя вышла замуж за тассовца Марка Шугала, всю войну они проработали на хабаровском корпункте, потом вернулись в Москву, купили кооперативную квартиру в писательском доме у метро Аэропорт и зажили с редкими просветами в виде тамиздатской книги, самиздатской рукописи или застолья с самым остроумным человеком Советского Союза Зямой Паперным, его женой Лерой и верным другом писателей-новомирцев Асей Берзер. Зяма придумал ставший нам тогда девизом тост: «Да здравствует всё то, благодаря чему мы несмотря ни на что!», актуальный по сей день.

Наша тоненькая, черненькая Ирочка сходила замуж за Георгия Макогоненко – щирого молодца в вышитой украинской рубашке, впоследствии маститого профессора русской литературы, и одновременно сменила японистику на русистику. Макогоненко вскоре заменил её поэтессой Ольгой Берггольц, та пила, жизни не было; разлучница-Ольга жаловалась на мужа Ире. Непоправимый удар нанёс Ирине Исакович наш однокашник Ефим Эткинд, блестящий знаток поэзии и, после Чуковского, лучший теоретик перевода. Не со зла, а эгоистически не подумавши о последствиях, своей крамольной фразой в предисловии к книге, которую Ира редактировала в «Библиотеке поэта», мол, русские переводы потому лучше всех, что их делали звезды – Пастернак, Ах-

матова, Заболоцкий и др. – ввиду невозможности печатать своё. «Библиотеку поэта» секретарь ленинградского обкома партии Толстиков разгромил, и Иру уволили с волчьим билетом. Тяжело болеть и умирать она уехала в Москву, к овдовевшей сестре.

Мы с Вале́й любим друг друга по-прежнему, я ей звоню, стараюсь не упускать из вида. Нам крупно повезло – это из серии «тесен мир»: Станевский, мой друг и бывший ученик, вернулся из Грузии, где он был послом, и, уже на пенсии, они с Людой обосновались в московской квартире, которая оказалась в соседнем доме с Валиным. Более того, между их домами есть переход, так что Людочка, не одеваясь, может сбегать к Вале – отнести ей, с пылу с жару, биточки или Феликс – закрыть неподдающуюся фрамугу. Даже моя критиканка Валя признаёт, что Люда – чудо, ангел во плоти.

Спасибо Мариэтте Чудаковой, она мне обещала не оставлять Валу без работы, доставать переводы с английского. Валя признает, что хоть тексты иностранных русистов – мусор, но не будь их, был бы склероз. Юру Сенокосова я тоже упростила дать ей перевод книги бывшего английского посла в Москве; книгу Валя ругала, но гонорар получила очень приличный. Её точит, что это всё благотворительность (хотя бы потому, что она без компьютера, пишет от руки). Но лучше так, чем никак. А ведь какой талант, как пронзительно умна, вкус безукоризненный! В давние годы она, единственная из всех нас верноподданных, всё поняла про советскую власть:

дошла сама. Ксеши давно нет, нет её в гостеприимном доме с необъятным круглым столом в столовой, – она уверяла, что стол принадлежал Григорию Распутину. Слава Богу, жив и много пишет Валин двоюродный брат Юра. Тот самый, что приехал за мной в самый чёрный день моей жизни, чтобы увезти из мужниного дома к ним с Ксешей, в Языковский переулок.

Лёша

Нижегородец Алексей Алмазов, как и Гриша, был на курс старше нас с Валеёй, учился на романском отделении и был прирождённым лингвистом. Моя мама говорила, что ему на роду написано стать академиком. Не тут-то было. Отец-адвокат сгинул в лагерях, да и Лёша тоже по-своему сгинул. Его мать, после университета, больше ни разу своего единственного сына не видела. В начале войны он пошёл в ополчение. Под Ленинградом стояла испанская «голубая дивизия», он попал в плен и был определён переводчиком. Всё! Путь назад был заказан: коллаборационист! С отступающими частями он очутился в Германии, потом уехал в Аргентину. В Буэнос-Айресе женился на русской интеллигентной девушке Вере, перебрались в Штаты, в Вашингтон; преподавал испанский язык. У них трое детей, два сына и дочь, один сын дипломат. Добротная, прочная семья. Ни у кого из нас троих такой не было и нет, мы, все трое, бездетные.

Моей первой поездкой «за рубеж» из Италии был вояж на концерт Нины Бейлиной в Карнеги Холле (она прислала мне билет Милан – Нью-Йорк и обратно), а второй был в Париж, к Фиме Эткинду. Ещё жива была его жена Катя, очень встревоженная тем, что Фиме предстояло вскоре идти на пенсию. Бездействие ему, однако, не грозило, его наперебой приглашали с лекциями на все материки. От него-то я и узнала, что Лёша в Вашингтоне и получила адрес.

В ответе Лёши на моё письмо не было особого удивления, он уже знал, что я «за бугром». «Половина филфака в Америке», – констатировал он.

Теперь мы в переписке и в перезвоне. Услышав его нижегородский говорок в первый раз после сорока с лишним лет, я растрогалась. Он, напротив, показался мне настороженным: ведь я знала, кто мой собеседник, а он, через столько лет... кто перед ним?

Когда-то самым ласковым словом у него было «ты смешная», а теперь? Постепенно оттаял. И Вера у него славная. Когда Лёше надо послать мне книгу почитать, на почту ходит она, у него плохо с ногами.

Мой проект устроить переписку-перекличку старых друзей из четырех городов, – Ленинграда, Москвы, Вашингтона и Милана, – рассказать друг другу о том, что произошло с тех пор, как мы расстались, и издать под одной обложкой, был принят вяло, практически отвергнут. А могло бы быть интересно.

Кстати, об Эткинде. Несколько лет назад Фима приезжал в Милан на пушкинскую конференцию, выступал последним, блестяще, лучше всех. На другой день они с его второй женой, славной Эльке Либс, просидели у меня до часу ночи, мы много о чем поговорили-повспоминали. Я его безуспешно пытала, почему его парижская ученица, вдова Иосифа Бродского, полурусская-полуитальянка Мария, не дала издательству «Адельфи» разрешения печатать Фимину книжку «Процесс Бродского», переведённую мной, вместе с одной моей ученицей, на итальянский язык. Эткинд с Бродским разошлись. А ведь Фиму вынудили эмигрировать, главным образом, за то, что он заступился за «тунеядца». Странно, оба нобелевских лауреата, которым Эткинд самоотверженно помогал, отвернулись от него...

Вспомнили мы и то, что я не оправдала его доверия: Эткинд (с Н. Гребневым и М. Шагинян) в 60 годах дал мне рекомендацию для вступления в труднодоступный для интеллигентного человека Союз писателей СССР, источник немалых благ. Я им пренебрегла ради мало кому известного и совершенно донкихотского итальянского «Пен-клуба».

Через три недели Фимы не стало: рак.

6. Испания

*«В Испании ты сражалась за правое дело,
которое, к счастью, было проиграно».*

Мераб Мамардашвили

Под знаменем пролетарского интернационализма

Это было бездумное и жуткое время, осень 1937 года. Бездумное потому, что мы, «ровесники Октября», «комсомольцы тридцатых годов», горели пламенем революционной веры (ибо всё брали на веру), были чисты помыслами, прямодушны, восторженны, словом, как были задуманы гомункулами, такими и выросли.

Жуткое потому, что полным ходом шли аресты. У нас на филологическом вводили прямо с лекций: готовились процессы. Некоторые кафедры, – японского языка, например, – остались без преподавателей. Особенно ошеломил арест студентов-немцев, антифашистов, чудом вырвавшихся из лап гестапо; для нас они были героями, живой легендой... От гестапо, стало быть, ушли, а от советских органов – нет...

«Сын за отца не отвечает», – великодушно объявил Сталин. Ещё как отвечал! Перед очередной людоедской акцией вождь имел обыкновение провозглашать диаметрально про-

тивоположный, благородный принцип.

Мы верили прекрасным словам и не видели чёрных дел. Будем откровенны: боялись видеть, не хотели видеть. До поры. Впрочем, многие из чувства самосохранения или по недомыслию так и прожили жизнь в шорах.

Нас с молодых ногтей воспитывали в духе так называемого интернационализма. Кто не помнит трогательного негритёнка из кинофильма «Цирк» Григория Александрова с Любовью Орловой! Антисемитизма вроде не чувствовалось; «жиды и большевики», делавшие Октябрьскую революцию, частично оставались у кормила. У нас, тогдашних, ещё не переживших ни «добровольных присоединений», ни космополитизма, ни танков в Праге, ещё не прочитавших Оруэлла и Солженицына, интернационализм был в крови.

Самым ярким его проявлением стала вовлечённость всем сердцем в испанские события: ведь столкнулись добро со злом, фашизм и антифашизм. Так же трепетно, как мы, ежедневно передвигая флажки на карте, следили за Гражданской войной в Испании идеалисты в других странах, в загадочной загранице, где каждый волен поступать по своему усмотрению: захотел сражаться за правое дело в Интернациональной бригаде, купи билет и поезжай! А мы, за железным занавесом, даже помыслить о таком не могли. Поэтому я только досадливо отмахнулась от настырного Семёна Гимзельберга с четвёртого курса (я была на третьем), который стал мне что-то бубнить про человека из Москвы, якобы на-

биравшего переводчиков испанского языка.

– Не отвлекай, мне некогда, – видишь, тут ещё конь не валялся!

Мы готовили актовъ зал к осеннему балу. Студенчество увлекалось вечерами и танцами; вдруг, необъяснимо почему, после жестоких гонений на джаз как «отрыжку буржуазного Запада», разрешили дотолѣ искоренявшіеся фокстроты и танго, блюзы и румбы. (Не для того ли, чтобы перекрыть треск выстрелов расстрельных команд?) Веселились до утра, до того, как сведут мосты через Неву.

К своим общественным поручениям я относилась истово. Лёша надо мной подтрунивал. Как ревниво-неодобрительно смотрел на моё самаритянское отношение к бородатому гигиенисту и ортодоксальному марксисту Миرونу Т.

В этот вечер, сверх обычной программы, – инициатива была ключом, – ещё готовили угощение: чистили, мыли, раскладывали на подносы живописными натюрмортами сырые овощи. Зал декорировали сосновыми гирляндами, рисунками и стихами, которые сочинял длинный, белобрысый, косноязычный Валя Столбов, впоследствии большой издательский начальник. На этот вечер, помню, пришел Владимир Яковлевич Пропп, и мы долго сидели с ним в «зимнем саду» – закутке, отгороженном кадками с фикусами.

В разгар этой кутерьмы меня вдруг вызывают вниз, в деканат. Господи, неужто в самом деле?...

В кабинет декана, где сидел некий майор в штатском, я

примчалась в таком взвинченном состоянии, что, не дослушав поучения:

– Вы не спешите с ответом, взвесьте, работа нелёгкая, сопряжена с опасностью для жизни... – выпалила:

– Я согласна!

Условием контракта было неразглашение тайны, герметическая секретность.

Как они себе представляли? Что девчонка, живущая на иждивении родителей, не скажет отцу с матерью, куда уезжает на неопределённый срок? О том, что в Испании воюют наши летчики, танкисты, что нет ни одной крупной республиканской воинской части без советского советника, знал весь мир, трубила пресса; в неведении должны были оставаться только советские люди, кстати, искренне сочувствовавшие испанским республиканцам. Почему?

Дома я просто сказала, что уезжаю. Надолго. Мама упавшим голосом спросила:

– В Испанию?

– Да.

– А, может быть, не стоит? Страшно...

Отец молчал, ждал, что я скажу.

– А если бы предложили вам, вы бы отказались? То-то!

Больше до самого отъезда к этой теме не возвращались. Братик Лёва ликовал и гордился сестрой.

Майор отобрал десяток студентов-«западников» с разными языками (испанский тогда в университете не изучался).

Начальство спешило, срочно требовалась смена выдохшимся за два года интуристовским переводчикам. Опыта в этих делах не было, в лингвистические тонкости не вдавались. То, что легче обучить испанскому языку человека, знающего романский язык (например, французский), начальству было невдомёк и во внимание не принималось. Критерий отбора: общественное лицо, успеваемость и, главное, – анкета, поэтому «будущего академика» Лёшу даже не потревожили – репрессирован отец, а Гришу отсеяли при засекречивании: его мать переписывалась с родной сестрой, жившей с 1905 года в США.

На всё про всё дали 40 дней. Занятия устроили на курсах Интуриста, вёл их милейший человек, пожилой добродушный аргентинский еврей Абрамсон, только что вернувшийся из Испании, где оставались переводчицами две его дочери; старшая, Лина, стала женой Хаджи Мамсурова – героя с боевой кличкой «Ксанти».

Абрамсон знал испанский как родной, но преподавать, да ещё без пособий, увы, совсем не умел. После первых уроков стало ясно: надо выкарабкиваться своими силами. Я тихо паниковала. Время идёт, как быть? Посоветоваться не с кем, да и нельзя, надо хранить государственную тайну. Взяла в библиотеке книжку испанского автора, – попался какой-то роман Пио Барохи, – и стала читать, вернее, расшифровывать слово за словом, со словарём, по догадке. Просиживала по десять часов кряду. За первый день одолела пять строк,

за второй чуть больше, а в конце месяца – всю книгу. Кое-чего нахваталась, конечно, но в голове была полная мешанина. Теплилась надежда, что на месте дадут время оглядеться, подучиться. Но нет, не дали. Ни одного дня.

Ленинград – Гавр – Барселона.

Сорок дней испанизации пролетели – не успели оглянуться, и новоиспечённых переводчиков повезли в Москву, на спецбазу для отъезжающих за рубеж – экипировать, подвёрстывать под загра ницу.

Смех и грех во что там обряжали!

Я слыла модницей. У меня имелась торгсиновская голубая кофточка джерси, равноценная маминому золотому кольцу, и белый беретик из того же Торгсина.

На базе царил образцовый порядок, отделы плотно укомплектованы, но чем... Что там носят за границей – откуда нам знать; в железном занавесе ведь ни щелочки, ни просвета.

Меня выручила интуиция, – я решила ехать в чём стою, отказаться от маркизетового платья с оборочками, от соломенной шляпы с розой из мадеполама и от прочих аксессуаров за гр аничной жизни, какой её представляло себе хозяйственное управление наркомата обороны.

Но у нас были попутчики – лётчики: они только что закончили на Украине авиационное училище, у них иного выхода,

как надеть выданное на базе «штатское обмундирование», не оставалось. А выдали им серые коверкотовые костюмы. Что уродливые, полбеды, но совершенно одинаковые!

Поначалу никто не придавал этому значения. Насторожили немцы в Киле. Наш теплоход «Россия» медленно плыл по узкому Кильскому каналу; справа, вдоль дамбы, прохаживались щеголеватые офицеры в фуражках с высокими тульями – первые увиденные нами живые фашисты. Сообразив, что пароход советский, они тоже впивались взглядами в лица на палубе. Особой проницательности не требовалось, чтобы в наших хлопцах – молодцах как на подбор, привычным жестом одёргивавших вместо гимнастеров одинаковые коверкотовые пиджаки, распознать профессиональных военных.

Едут во Францию? Значит, в Испанию, воевать. Коль на то пошло, вот когда соблюдать бы секретность – не пускать ребят на палубу. Да секрет-то был полишинеля.

Встречать «Россию» в Гавр приехала из Парижа жена посла, сухощавая миниатюрная дама средних лет в строгом тёмном костюме с белой гарденией в петлице, – первая элегантная женщина, какую я видела живьём, не на киноэкране. (Тогда у советских послов ещё были стройные элегантные жёны, те, что превратились, – злорадствовал Берия, – «в лагерную пыль»).

При виде наших соколов, она оторопела: как из одного приюта!

– Товарищи, не задерживайтесь, скорее в гостиницу!

Хозяин гостиницы – свой человек, у него перевалочный пункт для всех прибывающих морем из Ленинграда и Одессы, он-то ничему не удивляется. Но на следующее утро...

Был Троицын день. Праздничная толпа заполонила весенние улицы Гавра. В воздухе стоял устойчивый запах ванили, шоколада и ещё чего-то кондитерского. Маленькие принцы Фаунтлерои в наутюженных брючках, в лайковых перчаточках, и их кукольного вида сестрички степенно вышагивали рядом с набриллиантенными папами и надушенными мамами в замысловатых шляпках, увенчанных цветами, перьями, птицами (Под конец у меня создалось ощущение, что эти немислимые шляпки заслоняют от меня Францию).

Свои добротные светлые костюмы мужчины носили, как наши старые мхатовские актёры – ноншалантно, как не умели носить у нас.

В скобках. Я за всю свою, правда, не долгую ещё жизнь видела только одного элегантного мужчину – нашего профессора античной истории Льва Львовича Ракова. Ему было ловко в хорошо сшитом костюме с ослепительно белым платком, выглядывавшим из бокового кармашка. Он тоже носил его непринуждённо. Артистично двигался. Мог поставить ногу на стул, увлечшись. Отсидел своё. Потом стал директором Ленинградской публичной библиотеки.

За столиками уличных кафе сидели такие же довольные жизнью и собой дамы и господа, попарно или целыми семьями, ели мороженое, пили из высоких стаканов разные цвет-

ные напитки, раскланивались со знакомыми.

Совершенно как в театре!

Изобильную сытую Францию после Испании я видела уже другими глазами, горестно: у них за спиной кровь и смерть, а им хоть бы что.

В ожидании «России» мы провели месяц в Париже. Трудно было перестроиться. Почему-то запомнилась пожилая дама (в шляпке с перьями) за соседним столиком в ресторане, как изящно, ножом и вилкой, чистила она яблоко. Не прельщали даже «дамское счастье» – магазины. Все что я заработала за год, я истратила за один день накануне отъезда обратно в Гавр. Запланированно я купила отрез шоколадного цвета, подарок брату Лёве, на его первый и последний в жизни взрослый костюм. Как он ему шёл! Не говорите мне, что не платье красит человека: глупости! Всё остальное – сходу: меня ждало такси. Куда ехать, решал шофёр. В бутике померила пальто: годится. Но продавщица принесла ещё три, одно другого лучше. Остановилась на двух, стою, думаю, какое предпочесть. А она психолог:

– Возьмите оба за полторы цены!

И завернула мне два почти одинаковых...

От этой Франции, когда я попала в Париж в 1983 году, не осталось и следа: толпа неузнаваемо демократизировалась. Какие там шляпы, все в джинсах!

Мы бы праздничношатались по Гавру и глазели вокруг ещё долго, если бы вскоре сами (особенно – коверкотовая коман-

да) не стали объектом пристального, естественно, нежелательного внимания.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.